

Восстания коренных народов Сибири и Дальнего Востока 1920–1930-х гг. в современной отечественной историографии

Е.М. Кунжаров^а, А.Д. Петрянин^б

Братский государственный университет, ул. Макаренко, 40, Братск, Россия

^а evger2007@yandex.ru, ^б petryanin.andrey.2005@gmail.com

^а <https://orcid.org/0009-0006-4246-6169>, ^б <https://orcid.org/0009-0008-9467-0000>

Статья поступила 26.02.2026, принята 16.03.2026

Статья посвящена историографии кризисных событий раннесоветской эпохи в отношении коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Историография кризиса – это направление в исторической науке и методологии истории, которое формируется в периоды глубокого общественного, интеллектуального или этического кризиса, ставящего под сомнение устоявшиеся парадигмы, ценности и способы исторического познания. Авторская гипотеза заключается в том, что крупные восстания 1920–1930-х гг. (Тунгусское (Аянское) 1924–1925 гг., серия тувинских восстаний 1924–1932 гг. и Казымское восстание (1933–1934 гг.)), будучи реакцией на радикальную советскую модернизацию, выступают как события, обнажающие глубинные социально-экономические структуры, политическую организацию и коллективное сознание. На основе межрегионального и компаративного анализа корпуса современных исследований показано, что работы, посвящённые этим конфликтам, неизбежно реконструируют ключевые аспекты жизни коренного населения Сибири и Дальнего Востока: системы экономических зависимостей и межэтнических отношений, традиционные родоплеменные иерархии и роль духовных лидеров, специфику административного управления, а также сакрально-хозяйственное освоение пространства. Делается вывод, что историография служит эффективным инструментом ретроспективного анализа, позволяющим преодолеть фрагментарность источников и выявить устойчивые социальные и ментальные структуры, которые в условиях острого цивилизационного слома проявились с максимальной отчётливостью.

Ключевые слова: коренные народы Сибири и Дальнего Востока; историография; восстания 1920–1930-х гг.; Тунгусское восстание; тувинские восстания; Казымское восстание.

The uprisings of the indigenous peoples of Siberia and the Far East in the 1920s and 1930s in modern Russian historiography

E.M. Kunzharov^а, A.D. Petryanin^б

Bratsk State University; 40, Makarenko St., Bratsk, Russia

^а evger2007@yandex.ru, ^б petryanin.andrey.2005@gmail.com

^а <https://orcid.org/0009-0006-4246-6169>, ^б <https://orcid.org/0009-0008-9467-0000>

Received 26.02.2026, accepted 16.03.2026.

The article is devoted to the historiography of the crisis events of the early Soviet era in relation to the indigenous peoples of Siberia and the Far East. Crisis historiography is a field in historical science and methodology of history that is formed during periods of deep social, intellectual, or ethical crisis that calls into question established paradigms, values, and ways of historical cognition. The author's hypothesis is that the major uprisings of the 1920s–1930s (the Tungus (Ayansk) uprising of 1924–1925, the series of Tuvan uprisings of 1924–1932, and the Kazym uprising of 1933–1934), as reactions to radical Soviet modernization, serve as events that reveal deep-seated socio-economic structures, political organization, and collective consciousness. Based on an interregional and comparative analysis of the corpus of modern research, it is shown that works devoted to these conflicts inevitably reconstruct key aspects of the life of the indigenous population of Siberia and the Far East: systems of economic dependence and interethnic relations, traditional tribal hierarchies and the role of spiritual leaders, the specifics of administrative management, as well as the sacral and economic development of territories. A conclusion is drawn that historiography serves as an effective tool of retrospective analysis, making it possible to overcome the fragmentary nature of sources and to identify enduring social and mental structures that manifested themselves with maximum clarity under conditions of acute civilizational rupture.

Keywords: indigenous peoples of Siberia; historiography; uprisings of the 1920s–1930s; Tungus uprising; Tuvan uprisings; Kazym uprising.

Введение. Кризисная история – это события, обстоятельства и их последствия, связанные с критической, нестабильной ситуацией. Изучение исторического развития коренных народов Сибири и Дальнего Востока зачастую сталкивается с проблемой фрагментарности и опосредованности источников, особенно когда речь

идёт о реконструкции глубинных социальных структур, экономических практик и коллективного сознания. В этой ситуации особую методологическую ценность приобретают исследования, посвящённые кризисным явлениям, в нашем случае конфликтам раннесоветского периода. Они как никто позволяют выявить особен-

ности социальной, экономической структур коренного населения, определяющих советскую цивилизационную модернизацию и пути, и возможности сопротивления на местах.

Через призму работ Е.П. Антонова [1, 2], В.А. Тураева [19], В.П. Захарова [20], А.Ю. Грекова [6] (по Тунгусскому восстанию); Н.М. Моллерова, А.А. Самдан [15, 16], О.Д. Натсак, Е.Л. Тирон [17]; Е.В. Переваловой [14], М.Ф. Ершова [8], А.А. Богордаевой [3], Н.Б. Граматчиковой [5], Н.А. Лискевич [9] и В.В. Фарносовой мы проследим, как историки, объясняя причины и логику конфликтов XX в., неизбежно реконструируют: 1) имеющиеся к 1920-м гг. системы экономических зависимостей и межэтнических отношений; 2) традиционные социально-политические структуры (родоплеменные иерархии, автономию общин, роль духовных лидеров); 3) специфику административного управления и взаимодействия с центром; 4) сакрально-хозяйственное освоение пространства и мировоззренческие основы.

Методология. Методологической основой исследования является компаративный анализ отечественной историографии, посвящённой трём крупным восстаниям коренных народов Сибири и Дальнего Востока в 1920–1930-х гг. Основным методом выступает критический анализ текстов с целью выявления особенностей коренного населения, его социально-экономической структуры. Особое внимание уделяется тому, как авторы анализируемых статей, объясняя истоки и логику восстаний, апеллируют к историческим предпосылкам, сложившимся в XIX – начале XX вв. В фокусе находятся четыре ключевых аспекта: экономические отношения и формы природопользования; социально-политическая организация (родовые институты, элиты); особенности взаимодействия с государственной властью; мировоззренческие и культурные основы общества.

Обсуждение. Периодизация использованных в статье источников позволяет выделить три основных хронологических периода с характерными особенностями исследований.

Первый период – 2000–2009 гг. Для него характерно становление и обновление проблемного поля. Исследования этого периода, такие как работа Е.П. Антонова о Тунгусском восстании 2007 г., заново поднимают тему, ранее находившуюся на периферии исторической науки, смещая акцент с классовой трактовки на национальные и социально-экономические аспекты конфликтов. Это работы преимущественно фактологического и описательного характера, закладывающие основу для последующего анализа.

Второй этап – 2010–2019 гг. Происходит существенное расширение и углубление тематики исследований. Работы этого периода, к которым относятся статьи А.Ю. Грекова, В.П. Захарова, Е.В. Переваловой, Н.А. Лискевич и В.В. Фарносовой, а также Е.Л. Тирон, отличаются более сложной методологией и междисциплинарным подходом. Историки активно привлекают методы этнологии, антропологии и фольклористики, обращаются к ранее недоступным архивным материалам, что позволяет перейти от реконструкции событий к анализу глубинных причин восстаний. В фокусе внимания оказываются социальные структуры, ментали-

тет, традиционное право и хозяйственный уклад коренных народов, рассматриваемые как ключевые факторы конфликтов.

Для третьего этапа – с 2020-го по настоящее время характерна дальнейшая специализация и микроисторический поворот в исследованиях. Работы этого периода, представленные статьями Н.М. Моллерова, А.А. Самдан, О.Д. Натсак, А.А. Богордаевой, Н.Б. Граматчиковой и М.Ф. Ершова, отличаются тщательной проработкой локальных кейсов, детальным анализом конкретных событий и персоналий. Исследователи уделяют особое внимание внутренней логике и восприятию событий самими участниками, широко используют эгодокументы, материалы устной истории и фольклора. Этот период отмечен стремлением к комплексной реконструкции традиционного общества через призму кризиса, выявлению цивилизационных основ сопротивлению и сакральных измерений конфликтов. Эволюция историографии демонстрирует движение от общей событийной канвы к глубокому структурному и антропологическому анализу, что превращает исследования о восстаниях 1920–1930-х гг. в ценный инструмент для ретроспективного изучения прошлого коренного населения Сибири и Дальнего Востока.

Анализ литературы о Тунгусском (Аянском) восстании 1924–1925 гг. как источника о социально-экономическом развитии тунгусов (эвенов, эвенков) и якутов позволяет реконструировать не только сам конфликт, но и глубинные исторические предпосылки, уходящие корнями в досоветский период. Эти работы, рассматривая события восстания, неизбежно обращаются к прошлому, чтобы выявить корни социально-экономических противоречий, этнических взаимоотношений и моделей политического поведения.

Статьи Е.П. Антонова, посвящённые непосредственно восстанию и движению тунгусов за самоопределение, являются ключевыми для понимания преемственности дореволюционных и послереволюционных проблем. В них показано, что основой для конфликта послужила сложившаяся в XVII – начале XX в. система взаимоотношений. Традиционный уклад жизни тунгусских родов, основанный на кочевом оленеводстве и охоте, оказался в жёсткой зависимости от товарно-денежных отношений, где доминирующую роль играли якутские торговцы и русские купцы. Формировалась долговая кабала, усиливавшая экономическое неравенство. Работы Антонова подчёркивают, что восстание стало кульминацией длительного процесса сопротивления внешнему давлению, а требования восставших о создании отдельного национального округа под эгидой СССР были попыткой легитимно, в новых политических условиях, разрешить старые проблемы: защитить земли от чужаков, сохранить традиционный хозяйственный уклад и добиться автономии от якутских властей, воспринимавшихся как проводники колониальной политики.

Исследование В.П. Тураева расширяет контекст, помещая проблему в рамки Гражданской войны на Дальнем Востоке. Автор показывает, что участие коренных народов на стороне тех или иных сил (белых, красных, повстанческих) часто диктовалось не идеологическими соображениями, а сугубо прагматичными интересами

защиты своей земли, хозяйств и семей от произвола любых внешних сил. Эта модель поведения, сформированная в дореволюционный период как стратегия выживания в условиях слабости государственной власти в отдалённых районах, ярко проявилась и в Гражданскую войну, и во время Тунгусского восстания. Тураев указывает, что опыт взаимодействия с царской администрацией, которая часто делегировала власть местным элитам (тойонам у якутов, родовитым князьям у тунгусов), создал специфическую политическую культуру, где лояльность центральной власти была условной и основывалась на невмешательстве во внутренние дела.

Статья В.П. Захарова о борьбе с «буржуазным национализмом» в Якутии 1920–1930-х гг. проливает свет на другую сторону дореволюционного наследия – сложившуюся социальную стратификацию внутри якутского общества. Обвинения, которые советская власть предъявляла якутской интеллигенции и бывшей родовой аристократии (тойонам), были связаны с их реальным влиянием, укоренённым в экономических отношениях. Тойоны были не только скотовладельцами, но и посредниками в торговле с тунгусами, кредиторами и хранителями традиционного уклада. Таким образом, конфликт между якутскими властями и тунгусскими повстанцами в 1924–1925 гг. был отражением более старого, дореволюционного противоречия между оседлыми скотоводами-якутами и кочевыми тунгусскими родами, где первые выступали как более сильные в экономическом и административном отношении акторы.

Работа А.Ю. Грекова, хотя и посвящена более широкой проблеме бандитизма, важна для понимания среды, в которой происходило восстание. Он рассматривает послевоенный бандитизм как рецидив Гражданской войны, указывая на слабость советской власти на окраинах, унаследованную от времен Российской империи. Огромные, слабозаселённые территории Дальнего Востока и Якутии, где государственный контроль всегда был номинальным, создавали идеальные условия для повстанческого движения. Тунгусское восстание, с этой точки зрения, не было чисто «бандитским», но оно использовало ту же инфраструктуру и существовало в тех же условиях географической и административной периферийности, что и криминальные банды. Эта периферийность и слабость коммуникаций были прямым наследием развития региона.

В совокупности данные статьи раскрывают дореволюционное развитие тунгусов и якутов как историю сложного симбиоза и конфликта. Они демонстрируют, что к 1917 г. в регионе сформировалась многоуровневая система отношений: экономическая зависимость тунгусов от якутских и русских торговцев, относительная административная автономия местных сообществ, слабость прямой власти из центра и глубокая социальная дифференциация внутри якутского общества. Тунгусское восстание 1924–1925 гг. стало прямым следствием этой системы, попыткой использовать революционный слом для пересмотра несправедливых, с точки зрения тунгусских родов, условий, сложившихся ещё в досоветскую эпоху.

Таким образом, эти исследования, будучи посвящены советскому периоду, служат ценнейшим источником для понимания прошлого, так как именно в кризисе начала XX в. наиболее чётко проявились глубинные структуры и противоречия, сформированные в предшествующие десятилетия.

Изучение тувинских восстаний 1920–1930-х гг. позволяет реконструировать ключевые черты традиционного общества, которые не только сохранились к моменту установления Тувинской Народной Республики (ТНР), но и стали фундаментальной причиной острейших социальных конфликтов в период советской модернизации. Эти работы, исследующие уже события раннесоветской эпохи в Туве, постоянно апеллируют к дореволюционному прошлому, раскрывая унаследованные социальные структуры, экономические практики и ментальные установки.

Исследования Н.М. Моллерова и А.А. Самдан о Хемчикском мятеже 1924 г. прямо указывают, что его причины коренились в попытке новой революционной власти нарушить многовековой уклад жизни тувинского общества, сложившийся под сюзеренитетом Цинской империи и сохранившийся в период русского протектората (Урянхайский край).

Ключевым наследием была социально-политическая структура, основанная на власти наследственной аристократии – нойонов, и мощном влиянии буддийской церкви с её разветвленной сетью монастырей (хурээ). Эта система была экономически и духовно неразрывно связана с кочевым скотоводческим хозяйством, основой благосостояния и миропонимания. Введение ТНР в 1924 г. единого денежного налога, как подробно показывает Самдан, стало шоком для аратов, чьи отношения с нойонами и государством исторически регулировались системой натуральных повинностей и внеэкономическим принуждением. Налог воспринимался не как техническое нововведение, а как покушение на саму основу жизненного уклада, что и спровоцировало стихийный, но массовый протест, поддержанный местными нойонами и ламами, видевшими в новой власти угрозу своему многовековому авторитету.

Статьи О.Д. Натсак о восстаниях 1930 и 1932 гг., а также работа А.А. Самдан о событиях 1930 г., раскрывают более глубокие пласты исторического развития. Они демонстрируют, что восстание «Алдан Маадыр» (1930 г.) и последующее Тере-Хольское восстание (1932 г.) были уже не стихийной реакцией на отдельные меры, а отчаянным, осозанным сопротивлением тотальному слому всего традиционного мира.

Политика коллективизации, насильственной секуляризации (разгром монастырей) и преследования нойонства означала полное уничтожение трёх столпов тувинского общества: свободного кочевого хозяйства, буддийской духовности и родоплеменной иерархии. До революции, несмотря на внешнее управление (цинское, затем российское), эти институты оставались нетронутыми в своей внутренней сути. Национально-освободительное движение начала XX в., приведшее к образованию ТНР, изначально питалось идеями сохранения тувинской идентичности, но оказалось использовано для проведения чуждой и разрушительной, с точки зрения большинства аратов, социальной инженерии.

Таким образом, восстания выступают как индикатор силы и жизнеспособности общественных форм.

Исключительно ценным источником для понимания тувинских ментальных структур является статья Е.Л. Тирон о фольклорной памяти. Песенный фольклор, зафиксировавший память о «Алдан Маадыр», отражает не конкретные исторические детали, а глубинные культурные архетипы и этические нормы, сформированные в долюрский и юрский периоды. Обрастая эпическими и героическими чертами, восстание в народной памяти встраивается в многовековой цикл сказаний о защитниках родной земли и справедливости. Этот нарратив основан на добуддийском в своей основе мировоззрении, где высшей ценностью выступают свобода кочевья, верность роду и личная доблесть.

Фольклор, таким образом, сохраняет и транслирует неофициальную, народную оценку событий, которая диаметрально противоположна официальной советской трактовке «контрреволюционного мятежа» и уходит корнями в традиционное сознание.

Синтез анализа этих статей позволяет утверждать, что развитие тувинцев к началу XX в. сформировало устойчивый, консервативный и самодостаточный социум, интегрированный в цивилизационный буддийский мир и организованный по родоплеменному принципу под мягкой властью нойоната и монастырей.

Слабость прямого административного вмешательства извне (как со стороны Цин, так и отчасти России) консервировала этот уклад. Восстания 1924, 1930 и 1932 гг., рассмотренные в данных работах, выступают как трагический источник, ярко высвечивающий эту реальность. Они демонстрируют, что главной причиной конфликта стало не просто «сопротивление новому», а столкновение двух несовместимых цивилизационных проектов: с одной стороны – тысячелетней кочевой традиции с её специфической экономикой, духовностью и социальностью, а с другой – проекта модернизации и социалистического строительства, требовавшего слома всех традиционных основ.

Поэтому данные статьи являются не только исследованиями конкретных вооружённых выступлений, но и опосредованным, но чрезвычайно богатым источником по социальной истории, менталитету и политической организации тувинского общества в дореволюционный период.

Изучение работ о тувинских восстаниях приводит к выводу, что главной причиной их стало столкновение двух несовместимых цивилизационных проектов. Исследования (Н.М. Моллеров, А.А. Самдан, О.Д. Натсак, Е.Л. Тирон) раскрывают, что к началу XX в. в Туве существовал устойчивый, консервативный социум, организованный вокруг трёх столпов, сформированных в цинский период: кочевое скотоводческое хозяйство, власть наследственной аристократии (нойонов) и духовное влияние буддийской церкви. Российский протекторат сохранял этот уклад практически нетронутым.

Восстания 1924 г. (реакция на денежный налог), 1930 и 1932 гг. (ответ на коллективизацию и секуляризацию) были отчаянной попыткой защитить целостность традиционного мира. Фольклорная память, зафиксированная Тирон, свидетельствует о глубокой укоренённости в народном сознании архетипов свобо-

ды, родовой верности и защиты родной земли, уходящих корнями в добуддийскую эпоху.

Анализ Казымского восстания 1931–1934 гг. и событий вокруг него, включая феномен «мандалады» позволяет выявить глубокую преемственность между традиционным укладом народов Обского Севера и причинами трагического конфликта периода коллективизации. Эти работы, посвященные уже советскому времени, постоянно апеллируют к историческим практикам, социальным структурам и мировоззренческим основам, сформировавшимся в дореволюционный период и оказавшимся под угрозой полного уничтожения.

Исследование Е.В. Переваловой, разводящее факты и мифы вокруг «остяко-вогульских мятежей», принципиально важно для понимания основы этих событий.

Автор показывает, что восстание не было стихийным бунтом «тёмных» аборигенов, как это часто представлялось в официальных отчётах, а являлось осознанным, отчаянным актом сопротивления, уходящим корнями в традиционные механизмы самоорганизации и защиты родовой территории. До революции ханты и манси (вогулы), как и ненцы, обладали значительной автономией в рамках российской административной системы, которая в основном ограничивалась сбором ясака и регулированием торговли. Их жизнь регулировалась не писаными законами, а нормами обычного права, жёстко привязанными к родовым угодьям, системе священных мест и глубоко эшелонированным родовым структурам. Традиционные промыслы (охота, рыболовство, оленеводство у ненцев) были не просто способом добычи пищи, а основой культурной и социальной идентичности, неотделимой от сакральной географии их земель.

Статья М.Ф. Ершова, анализирующая заметки И.С. Панова, прямо указывает на предпосылки восстания. Среди них ключевое место занимает вопрос о земле и угодьях. Панов фиксирует, что конфликт назревал задолго до 1933 г., поскольку ещё в дореволюционный период началось постепенное проникновение на север пришлого населения (коми-зырян, русских), которое вступало в сложные, часто конфликтные отношения с аборигенами из-за ресурсов.

Советская власть, с её политикой создания национальных советов, коллективизации и организации рыболовецких артелей, не учла хрупкости этих взаимоотношений и сакральной значимости земли. Планы хозяйственного освоения, переселения и новые административные границы грубо ломали традиционное природопользование, что воспринималось не как экономическое неудобство, а как покушение на основы мироздания и выживания рода.

Работа А.А. Богордаевой об отчёте 1934 г., собранном у сосвинских манси после подавления Казымского восстания, является уникальным источником, демонстрирующим живучесть социальных и коммуникативных практик. Оперативная информация собиралась через призму доверия к конкретным лицам и родам, что отражает сохранявшуюся клановую структуру общества. Более того, сам факт сбора «оперативки» говорит о том, что, несмотря на формальное установление советской власти, её агенты вынуждены были взаимодействовать с обществом, организованным по совер-

шенно иным, досоветским законам. Отчёт фиксирует страх, недоверие и глухое сопротивление, которые были реакцией на разрушение привычного мира, где власть была дистанцирована (в лице царского чиновника или купца), а не стремилась проникнуть в каждую юрту и регламентировать каждый шаг.

Исследование Н.Б. Граматчиковой о мифе и эго-документах выводит анализ на уровень коллективного сознания. Упоминание «близнечного мифа» озера Нумто (священного центра казымских хантов) и анализ художественного осмысления восстания показывают, что в народной памяти конфликт встраивается в древние, дохристианские и дореволюционные нарративы о борьбе за целостность сакрального пространства. Ритуал «мандалада» (сбор, совет), давший название восстанию в некоторых источниках, сам по себе является архаичной формой родового самоуправления, способом принятия коллективных решений в критических ситуациях. Его использование в 1933 г. свидетельствует о том, что в момент крайней опасности общество вернулось к самым фундаментальным, проверенным веками институтам, игнорируя новые советские формы организации.

Статья Н.А. Лискевич и В.В. Фарносовой о формировании казымских коми косвенно, но крайне важно дополняет картину исторического развития. Она показывает, что Обской Север даже в позднеимператорский период был зоной сложных межэтнических контактов и миграций. Появление коми-ижемцев, которые были более успешными оленеводами и активными агентами товарно-денежных отношений, меняло традиционный баланс. Их роль в советское время (часто как низовых агентов власти – председателей колхозов, переводчиков) стала дополнительным раздражителем, накладывая новые противоречия на старые трения между оседлыми хантами и кочевыми оленеводами (ненцами, коми).

Таким образом, совокупный анализ этих статей раскрывает общественное развитие хантов и ненцев как историю формирования устойчивого, сложно организованного общества, идеально адаптированного к экосистеме тайги и тундры. Его фундаментом были родоплеменная организация, строго регламентированная система родовых угодий, комплекс сакральных мест и практик, а также гибкая, но прочная система обычного права. Российская империя, выстраивая отношения через ясак и косвенное управление, в целом сохранила эту систему. Казымское восстание, как оно отражено в данных работах, стало прямым следствием тотального слома этой системы в 1930-е гг. Восстание и связанные с ним события выступают как мощный источник, высвечивающий саму суть хозяйственного уклада: его укорененность в земле, сакральность хозяйственной деятельности, силу родовых связей и глубинные механизмы коллективного принятия решений, которые оказались сильнее страха перед репрессивной машиной нового государства.

Проведённый анализ совокупности современных исследований о Тунгусском, тувинских и Казымском

восстаниях 1920–1930-х гг. убедительно демонстрирует их высокую ценность в качестве ретроспективного источника для реконструкции развития коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на различия в конкретных исторических обстоятельствах, все три кейса раскрывают единую методологическую закономерность: острый кризис, вызванный столкновением традиционного уклада с проектом советской модернизации, вывел на поверхность и сделал предметом научного анализа глубинные, часто латентные структуры дореволюционной эпохи.

Во-первых, эти работы позволяют детально восстановить экономический ландшафт дореволюционного периода. Становятся очевидны системы зависимости (долговая кабала тунгусов от якутских торговцев), формы традиционного природопользования (кочевое оленеводство, промысловая экономика), а также хрупкость баланса в межэтнических хозяйственных связях, который советские реформы грубо нарушили.

Во-вторых, они проливают свет на социально-политическую организацию. Исследования высвечивают устойчивость родоплеменных структур у тунгусов и тувинцев, роль наследственной аристократии (нойонов, тойонов) и духовных лидеров (лам), а также специфическую «условную лояльность» центральной власти, основанную на принципе невмешательства во внутренние дела.

Казымский пример, в свою очередь, показывает абсолютную доминанту родовых институтов и обычного права, регулировавших доступ к угодьям и сакральным местам.

В-третьих, конфликты обнажили ментальные и мировоззренческие основы коренных обществ. Фольклорная память, анализ ритуалов (как «мандалада») и реакция на покушение на сакральное пространство (озеро Нумто, система священных мест) указывают на глубокую укоренённость традиционного сознания, где хозяйственная деятельность, социальные связи и духовность представляли собой неразрывное целое. Восстания были отчаянной попыткой защитить эту целостность.

Заключение. Таким образом, новейшая отечественная историография позволяет по-новому взглянуть на восстания коренного населения Сибири и Дальнего Востока в 1920–1930-е гг. Современные методологические подходы детерминировали отличные от советского периода новые ракурсы исследований традиционных обществ, остававшихся практически неизменными на протяжении многих веков. Только социалистическая модернизация пыталась разрушить устоявшиеся отношения и структуру, что вызвало сопротивление со стороны коренного населения.

Следовательно, обращение к таким исследованиям является не только способом изучения советской истории, но и продуктивной методологической стратегией для более глубокого проникновения в прошлое народов Сибири и Дальнего Востока, когда прямое обращение к нему ограничено узостью источниковой базы.

Литература

References

1. Антонов Е.П. Движение тунгусов в Якутии и на Охотском побережье за национальное самоопределение в период нэпа // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. 2014. С. 7–14.
2. Антонов Е.П. Тунгусское национальное восстание 1924–1925 гг. // Россия и АТР. 2007. № 4. С. 37–44.
3. Богордаева А.А., Лискевич Н.А. После Казымского мятежа: об одном отчете по сбору оперативной информации у сосвинских манси в 1934 г. // ВБЭ. 2023. № 2 (61). С. 119–129.
4. Боронова М.М. Народы Байкальской Сибири в динамике межкультурных отношений XVII в. нач. XX в. // Вестник БГУ. 2012. № 58.
5. Граматчикова Н.Б. «Близнецы мифа» озера Нумто: Казымское восстание в художественной прозе и эго-документах // Кунсткамера. 2021. № 1 (11). С. 155–165.
6. Греков А.Ю. Бандитизм на Дальнем Востоке как рецидив Гражданской войны // Вестник ТГУ. 2010. № 8. С. 96–100.
7. Дамешек Л.М. Политика империи и методы инкорпорации коренного населения сопредельных территорий России XVIII – начала XX в // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. 2016. № 3. – С. 35–47.
8. Ершов М.Ф., И.С. Панов о предпосылках Казымского восстания // Вестник угроведения. 2024. № 1. С. 95–104.
9. Лискевич Н.А., Фарносова В.В. К истории формирования казымских коми в 1920–1930-е гг. // ВБЭ. 2010. № 2. С. 53–57.
10. Лурье С.В. Историческая этнология. М. : Академический Проект : Гаудеамус, 2004. 621 с.
11. Николай М.М. Хемчикский мятеж 1924 г.: причины и ход восстания // Азиатские исследования: история и современность. 2022. № 2. С. 53–62.
12. Органа Д.Н. Внешнеполитические и внутрисполитические причины вооруженного восстания на Хемчике в 1930 г. // Азиатские исследования: история и современность. 2022. № 2. С. 62–70.
13. Органа Д.Н. Тере-Хольское восстание в Туве (1932 г.) // Азиатские исследования: история и современность. 2022. № 3. С. 79–87.
14. Перевалова Е.В. Остяко-вогульские мятежи 1930-х гг.: были и мифы // Ежегодник финно-угорских исследований. 2016. № 1. С. 23–35.
15. Самдан А.А. Вооруженное восстание в Туве в 1930 г. // Новые исследования Тувы. 2020. № 3. С. 164–178.
16. Самдан А.А. Обострение налогового вопроса и восстание на Хемчике в 1924 г.: причинно-следственная связь // Азиатские исследования: история и современность. 2022. № 2. С. 70–78.
17. Тирон Е.Л. Историческая память о восстании «Алдан Маадыр» в песенном фольклоре тувинцев // Сибирский филологический журнал. 2017. № 4. С. 217–226.
18. Троценко К.В. Соотношение закона и обычая в регулировании жизнедеятельности сибирских народов Российской империи в конце XVIII начале XX вв. // Общество. Среда. Развитие. 2014. № 2. С. 98–101.
19. Тураев В.А. Коренные малочисленные народы в Гражданской войне на Дальнем Востоке: особенности и причины участия // Труды института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. 2018. № 19. С. 135–146.
20. Захаров В.П. Власть и общество: обвинения в буржуазном национализме в Якутии в 1920–1930-х гг. // Вестник СВФУ. 2012. № 2. С. 44–49.
1. Antonov E.P. The Movement of the Tungus in Yakutia and on the Okhotsk Coast for National Self-Determination during the NEP Period // Izvestia of Irkutsk State University. Series: History. 2014. P. 7–14.
2. Antonov E.P. The Tungus National Uprising of 1924–1925 // Russia and the Asia-Pacific Region. 2007. No. 4. P. 37–44.
3. Bogordaeva A.A., Liskevich N. A. After the Kazym Revolt: On One Report on Collecting Operational Intelligence among the Sosva Mansi in 1934 // VAAE. 2023. No. 2 (61). P. 119–129.
4. Boronova M.M. The Peoples of Baikal Siberia in the Dynamics of Intercivilizational Relations from the 17th to the Early 20th Century // Vestnik BGU. 2012. No. 58.
5. Gramatchikova N.B. The "Twin Myth" of Lake Numto: The Kazym Uprising in Fiction and Ego-Documents // Kunstkamera. 2021. No. 1 (11). P. 155–165.
6. Grekov A.Yu. Banditry in the Far East as a Relapse of the Civil War // Tomsk State University Journal. 2010. No. 8. P. 96–100.
7. Dameshek L.M. Imperial Policy and Methods of Incorporating the Indigenous Population of Russia's Border Territories in the 18th–Early 20th Centuries // Izvestia of Irkutsk State University. Series: History. 2016. No. 3. P. 35–47.
8. Ershov M.F., I.S. Panov on the Prerequisites for the Kazym Uprising // Bulletin of Ugric Studies. 2024. No. 1. P. 95–104.
9. Liskevich N.A., Farnosova V.V. On the History of the Formation of the Kazym Komi in the 1920s–1930s // VAAE. 2010. No. 2. P. 53–57.
10. Lurie S.V. Historical Ethnology: Moscow: Academic Project: Gaudeamus, 2004. 621 p.
11. Nikolai M.M. The Khemchik Rebellion of 1924: Causes and Course of the Uprising // Asian Studies: History and Modernity. 2022. No. 2. P. 53–62.
12. Organa D.N. Foreign and Domestic Political Causes of the Armed Uprising in Khemchik in 1930 // Asian Studies: History and Modernity. 2022. No. 2. P. 62–70.
13. Organa D.N. The Tere-Khol Uprising in Tuva (1932) // Asian Studies: History and Modernity. 2022. No. 3. P. 79–87.
14. Perevalova E.V. The Ostyak-Vogul Rebellions of the 1930s: Bylinas and Myths // Yearbook of Finno-Ugric Studies. 2016. No. 1. P. 23–35.
15. Samdan A.A. The Armed Uprising in Tuva in 1930 // New Research of Tuva. 2020. No. 3. P. 164–178.
16. Samdan A. A. The Escalation of the Tax Issue and the Uprising in Khemchik in 1924: Cause and Effect // Asian Studies: History and Modernity. 2022. No. 2. P. 70–78.
17. Tiron E.L. Historical Memory of the "Aldan Maadyr" Uprising in the Song Folklore of the Tuvans // Siberian Philological Journal. 2017. No. 4. P. 217–226.
18. Trosenko K.V. The Correlation of Law and Custom in Regulating the Life of Siberian Peoples of the Russian Empire in the Late 18th – Early 20th Centuries // Society. Environment. Development. 2014. No. 2. P. 98–101.
19. Turaev V.A. Indigenous Small-Numbered Peoples in the Civil War in the Far East: Specifics and Reasons for Participation // Proceedings of the Institute of History, Archaeology and Ethnography, FEB RAS. 2018. No. 19. P. 135–146.
20. Zakharov V.P. Power and Society: Accusations of Bourgeois Nationalism in Yakutia in the 1920s–1930s // Vestnik of NEFU. 2012. No. 2. P. 44–49.